

Иероним Ясинский

Катря



Иероним Иеронимович Ясинский

Катря

«Поезд остановился на пять минут. Станция – Блискавки. Пассажиров мало, никто издалека не едет. Эта ветвь железной дороги проведена сюда, чтоб вывозить хлеб, да и то зимою, а не летом. Летом кондукторы пробегают по пустым вагонам, и хорошо, если в вагоне найдётся два-три человека. Это лица знакомые, давным-давно примелькавшиеся кондукторам: еврей, помещик, поп, богатый казак, гимназист, гимназистка...»

Иероним Ясинский

Катря

Поезд остановился на пять минут. Станция – Блискавки. Пассажиров мало, никто издалека не едет. Эта ветвь железной дороги проведена сюда, чтоб вывозить хлеб, да и то зимою, а не летом. Летом кондукторы пробегают по пустым вагонам, и хорошо, если в вагоне найдётся два-три человека. Это лица знакомые, давным-давно примелькавшиеся кондукторам: еврей, помещик, поп, богатый казак, гимназист, гимназистка. Начальник станции сидит на балкончике в рубашке и режется в карты. Иногда из вагона становой или кто-нибудь перекинется с ним приятельским словом. Если бы в числе пассажиров был при этом посторонний человек, *приезжий*, как выражаются здесь кондуктора, то его поразило бы, что начальник станции наминает своим голосом тромбон. Зычный, оглушительный голос! Но уж из местных пассажиров никто не удивляется ни голосу начальника станции, ни его бесцеремонности. Вместо пяти минут, положенных по расписа-

нию, поезда в Блискавках простаивают нередко полчаса и час. Тоже никого это не удивляет, и все знают, что железнодорожные власти поджидают пассажиров из ближайших деревень. Дорога маленькая, всего сорок семь вёрст, пять сажень и три вершка с осьмою, и надо же компании получать что-нибудь с неё в летние месяцы.

Таким образом, и теперь поезд, остановившийся на пять минут, растянул этот срок почти на час, и пассажиры, как ни великодушно относились они к интересам компании, стали роптать.

Но обер-кондуктор начал «усоветничать» пассажиров, т. е. уверять их, что поезд сейчас тронется. Через десять минут он объявил, что поезд тронется сию секунду; через пять минут – что поезд уже трогается. Наконец, раздался сигнальный свисток, но поезд не трогался.

Тем временем по просёлочной дороге, усаженной роскошными каролинскими тополями и ровной как доска, катила коляска; серебряные гайки её колёс издали сверкали на солнце, а пыль белым облаком стлалась за

нею. Начальник станции, сидя на балкончике против бледного, проигравшегося офицера, сейчас же узнал, чей это экипаж, и, распечатав новую колоду карт, крикнул на платформу помощнику:

– Граф Парпура!

Имя это успокоило пассажиров: стало ясно, почему так долго стоит поезд, и явилась незыблемая уверенность, что теперь стоять уж, действительно, недолго.

Граф Парпура выскочил из коляски; проведя платком по чёрным висячим усам, он снисходительно ответил на поклоны помощника и кондукторов и сел в вагон первого класса. Станция, с резными коньками, с игрушечным балкончиком, с белыми стаканчиками телеграфных столбов, с платформами, стала уплывать от пассажиров; машина начала пыхтеть скорее и скорее, и, наконец, побежали по обеим сторонам зелёные луга, озёра, хутора, деревья, залитые жгучим солнцем; мерно застучали колёса вагонов.

Сидя в бархатном купе, граф сохранял некоторое время то особое выражение – отчасти тупое, отчасти горделивое – которое свой-

ственно богатым людям, не расходуящим умственной энергии на мелкие житейские заботы. Он был здоров, не стар, душа его ничем не волновалась. Он не служил; ни чиновник, ни земец, он просто барин...

Было жарко. Граф снял панаму, и в чёрных волосах его можно было бы заметить седину. Глаза у него ещё молодые, тёмные, с влажным блеском; но вокруг глаз уже легли лёгкие коричневые кольца приближающейся старости. Нос прямой, толстоватый, а крупный подбородок вельможно двоился. Невысокая шея уходила в богатырские плечи, хоть ростом граф и не богатырь. Большие руки были затянуты в свежие перчатки. Вместо цепочки, вилась по летнему полотняному жилету тесёмка, запонки были костяные, бельё дорогое.

Он смотрел в окно; стекло опущено, и ветер, всегда сопровождающий поезд, дул графу в лицо. Рожь и пшеница в этом году замечательные. Но когда они бывают плохие? В их благодатных местах неурожаи невозможная вещь; разве уж град выбьет! Земля удобрения не требует. Мужик богат. «Да и паны здесь —

не бедный народ, – думает граф, примечая на горизонте усадьбы местных помещиков, неизбежно украшенные пирамидальными тополями. – У каждого дом – полная чаша как в старое доброе время; в глуши, где жизнь дешёва, проживают по десяти тысяч»...

Он вынул гаванскую сигару и закурил.

В соседнем купе кто-то вздохнул. То был странный вздох. Парпура сдвинул брови, а когда вздох повторился, почувствовал безотчётную тревогу и стал прислушиваться...

Палисандровая дверца отворилась, и в купе вошла хорошенькая барышня, худенькая, белокурая, в странном, полуукраинском, полурусском наряде. В длинной золотистой косе её пестрели разноцветные ленты, грудь рубашки была расшита тончайшими узорами, в руке девушка держала букетик цветов, а на шее у неё чернелась бархатная лента с брильянтовым крестиком. Лента выделяла молочную белизну кожи. Лицо было неправильное: серо-голубые глаза далеко расставлены, тёмные красивые брови, прямой нос, тупой на конце, приметный пушок над верхней губой капризного, очаровательного рта, и на

щеке родинка. Она улыбнулась, когда вошла; можно было подумать: «Довольно развязная молодая особа». Но вопросительный взгляд Парпуры смутил её, девушка покраснела.

– Прошу вас, граф, – сказала она, доставая папироску, – нет ли...

Граф догадался и молча протянул спички с любезным жестом.

Она стала нервно и неловко зажигать папиросу. Наконец, зажгла, поперхнулась дымом и, возвращая спичечницу, сказала, не глядя на графа:

– Благодарю.

Уходя, она вынула из своего букетика розу, бросила её на пустое кресло и торопливо произнесла:

– Если понравится – возьмите; не хочу быть в долгу у вас.

Граф улыбнулся и взял розу.

Так это она так вздыхала? Можно было подумать, вздыхает больной, совсем больной ребёнок; между тем, на больную она не похожа. Должно быть, капризна и нетерпелива. «Она вздыхала просто от нетерпения», – решил граф и понюхал розу.

«Она меня, конечно, знает», – думал он затем – кто не знает графа Парпуру? – но он не встречал её раньше. Граф должен был признаться, что если бы он встретил её раньше хоть раз, то не забыл бы...

Тут он снова понюхал розу и, заткнув её в петличку пиджака, продолжал курить и глядеть из окна на убегающие пейзажи.

Местность степная, но когда-то здесь протекали реки, и от них остались глубокие русла, в виде бесконечных яров, поросших липовыми и ореховыми лесами. На дне блестят там и сям продолговатые озёра. Вдруг вынырнет вишнёвый садик, хуторок белеется на солнце. Или громадный дуб стоит и точно хмурится на железнодорожный поезд. Курганы выделяются на горизонте тёмными буграми. По зеленеющему склону спускается молодая казачка в пёстром венке. Увидев поезд, она останавливается и долго смотрит, приложив руку к глазам. Стада неподвижно пасутся. А вот каролинские тополи. Граф узнаёт свои владения. Они рассеяны по всему уезду, и отличительный признак их – необыкновенная благоустроенность просёлков.

Раздался свисток: новая станция – Парпуровка. Поезд остановился, граф вышел из вагона. Лакей приблизился к нему и объявил, что лошади ждут. Вышла из вагона и та девушка. Граф был убеждён, что все местные барышни мечтают о нём, потому что, в самом деле, недурно выйти за барина, у которого двести тысяч дохода. Ко всяким знакомствам он относился, вследствие этого, подозрительно. Но с другой стороны, в качестве настоящего барина, он и не пренебрегал знакомствами, ибо какое знакомство может уронить его, графа Парпуру? Только выскочки и чиновные семинаристы высокомерны, а Парпура прост. Он слегка поклонился барышне и молча указал на розу. Девушка зарделась, и, неизвестно почему, Парпура сам покраснел. Выйдя на крыльцо, он заметил, что кроме его экипажа, нет другого. Тогда он послал своего лакея на платформу к незнакомой девушке с предложением воспользоваться его экипажем. Но она отказалась. Бич захлопал, граф откинулся на подушки, и коляска покатила.

На перекрёстке, там, где аллея каролинских тополей перерезывается обыкновенною

просёлочною дорогою, граф увидел молодого дворянина Тычину, в двухколёсном экипаже, усердно погоняющего белую громадную лошадь, очевидно, не привыкшую ходить в упряжке. На Тычине была военная расшлёпанная фуражка; маленькое чёрное лицо его, со свирепыми усами, пылало гневом. Граф подумал: «Уж не за той ли он барышней? Может быть, его родственница?» Обернувшись, он некоторое время с улыбкой смотрел на Тычину и его гарцующего коня, пока пыль не скрыла их из виду. После чего Парпура закурил новую сигару и перестал думать о хорошенькой незнакомке.

II

– Ну, Катря, садись! – сказал Тычина, не выпуская ремённых вожжей, туго намотанных на его длинную жилистую руку. – Прыгай скорее, а то мухи не дадут покоя *Полковнику*! Он меня чуть не разнёс... Такая скотина, убей его нечистая сила!

Девушка пожала плечами.

– *Беда*? Ты всегда выдумашь невозможный экипаж... Кто просил тебя выезжать в *беде*? Ещё и *Полковника* запряг! Вот так умный

человек!

Тычина, пока говорила девушка, стоял возле лошади и смотрел из-под козырька в даль. Он был прям как палка. Короткий пиджак открывал неимоверно длинные, тонкие ноги. Шея у него тоже была длинная, с некрасивым костлявым кадыком. Волосы лежали наподобие крыльев вóрона, а на загорелом лице, в глубоких впадинах, мрачно блестели тёмные глаза.

– Садись, Катря, – сказал он с угрозой, – не то сам уеду, и ты останешься одна тут... Намучился я с Полковником, не зли хоть ты меня!

– Не сяду я! – решительно отвечала Катря.

Всегда выходило, что, как только он возвысит голос, Катря начинает упрямиться. Попроси он ласково, пожалуй, она села бы и поехала. Но Катря не выносила угрожающего тона. Сердито прошлась она по крыльцу, стуча каблучками, и губы её были сжаты.

С другой стороны, не рассердись Катря, Тычина согласился бы, что беда, в данном случае, совершенно неподходящий экипаж. Но теперь он был противоположного мнения. Катря разнежилась, надо её проучить. Не может иначе,

как в коляске или первом классе! Скажите, барыня! Он побледнел и, вскочив в беду, стал поворачивать лошадь.

– Оставайся же тут, – крикнул он гневно, – и пускай выезжает за тобою кто хочет, а я тебе не слуга!

Красивые глаза Катри потемнели.

– Не слуга! – спросила она. – Ну, и прочь! Поезжай один! Дура я, что не послушалась графа... Да всё равно, моё от меня не уйдёт...

Катря улыбнулась бледной улыбкой. Покинуть её нельзя: она верила в обаяние своей красоты. Другое дело, если она сама бросит. Какая-то неопределённая мысль о Парпуре служила ей точкой опоры в этой размолвке. С холодным негодованием смотрела Катря вслед удаляющемуся Тычине.

Но та же мысль о графе осенила и его. Он круто повернул коня и как сумасшедший полетел назад к станции.

– Катря, садись, прошу тебя! – сказал он ласково.

Она хотела возразить что-нибудь жёсткое, чтоб унижить Тычину и заставить его подольше попросить, но встретила безмолвный, на-

смешливый взгляд бабы, стоявшей всё время на дворе, и торопливо села в беду; конь взвился на дыбы, потом рванулся и пошёл рысью, покорствуя железной руке возницы.

Минут через двадцать, они начали спускаться в глубокий яр. Над ними висели причудливые массы красной и жёлтой глины, поросшие орешником и сорными травами. Небо ярко синело. На озере возвышался остров, общающийся с берегом плотиной. Издали вид был красивый. Но когда беда запрыгала, Катря стала проклинать плотину. Ругнулся и Тычина. Колёса вязли в грязи.

– Я, знаешь, встану, – сказал Тычина. – Этак Полковника можно зарезать.

Девушка вопросительно посмотрела на него. Ей стало жаль, что он полезет в грязь.

– Сиди, – произнесла она.

Тычина взял у неё руку и поцеловал, а она слегка ударила зонтиком Полковника.

Они помирились. Тычина не понимал, как у него могла явиться мысль обидеть Катрю, и дивился своему вздорному характеру. Катря сердилась на себя, что упомянула о графе.

Полковник дотащил их благополучно до

ворот усадьбы, и они въехали в громадный двор.

III

Тёмная зелень пирамидальных тополей и чёрная соломенная крыша составляли резкую противоположность с безукоризненно белыми стенами большого приземистого дома с двух крыльцах, увитых диким виноградом. По ту сторону дома рос сад. Множество собак, поджарых борзых, шелковистых сеттеров и толстоногих гончих, встретили молодых людей радостным лаем. Вышел мужик и принял лошадь. Катря с удовольствием подумала, что она дома, и побежала на свою половину.

В комнатах стояла духота. Рои мух жужжали в тёплом воздухе. Серебряная лампадка казалась чёрной – так они засидели её. Убранство было старосветское: гравюры в палисандровых плоских рамах, четырёхное фортепьяно, красного дерева мебель с вогнутыми спинками, большое зеркало в золочёной раме. В гостиной находилась, впрочем, дюжина современных кресел, и у многих из них уже выпадали ножки. Кабинет Тычины можно было скорее назвать птичником. От потолка

до полу были протянуты по углам сети, и за ними бились и чирикали всевозможные пташки; стены увешаны арапниками, простыми и скорострельными ружьями, пороховницами и дробницами. Неизвестно, что писал дворянин Тычина и вообще писал ли когда-нибудь, но на его письменном столе красовалась тяжёлая бронзовая чернильница с крышкой, изображающей горящий факел. Мухи не успели ещё засидеть бронзу. Сияющая вещь эта вызывала чувство гордости в её обладателе. Над письменным столом висела полка с книгами по сельскому хозяйству и охоте. Книги были тоже предметом гордости Тычины: благодаря им, он считался первым хозяином и первым охотником во всём уезде.

Ещё не так давно у него было шестьсот десятин превосходнейшей земли. Он отдавал её в аренду мужикам и получал аккуратно до четырёх тысяч в год. Тогда он разъезжал по окрестным ярмаркам, слушал цыган, покупал лошадей, собак. Но теперь имение его заключается всего в ста семидесяти трёх десятинах, и по ярмаркам он не разъезжает. Зато в аренду земли не отдаёт, у него своя запашка, и он

надеется, в скором времени, получать те же четыре тысячи с имения, если не больше. Как – это его тайна.

На половине Катри гораздо роскошнее, чем на половине её сожителя. Катря любит дорогие вещи. Полы и стены в персидских коврах, за которые заплачено в Киеве на контрактах тысячу семьсот рублей. Там же куплен комодик с аляповатой бронзой и мраморной доской за триста рублей. На окнах филенные гардины на шёлковой розовой подкладке. Стулья модные, с позолотой и с атласными голубыми сиденьями. В углу гипсовая статуя Венеры, на которую Катря надела искусно вырезанную из папиросной бумаги тунику. Очень много цветов – пальм, кактусов. Над узенькой постелью, одеяло которой и подушки расшиты узорами, висят фотографические карточки в рамках. Всё это, вместе с серебряным рукомоёйником, занимающим почётное место, небом, виднеющимся из окна, и зеленью сада, отражается в большом ореховом трюмо.

Теперь в трюмо отражается и сама Катря. Она полулежит на гнутой качалке. Никогда

не пропускает она случая найти себя хорошенькой. Катря смотрит на свои плечи, тонкую шею, белое лицо с румяным загаром, с алым ртом, золотую косу, по которой пробегают её длинные, красивые пальчики, и жалеет о том времени, когда она была ещё лучше. Глупо она сделала, что полюбила Тычину. Конечно, она любит его и теперь; но теперь не случилось бы *того*. Её сокрушает мысль, что она тогда, в шестнадцать лет, не сдержала себя. Несмотря на своё круглое сиротство, она могла бы выйти замуж. А выйти замуж лучше, чем жить *так* – с женатым...

Катря вздохнула и заложила руки под голову. Башмачок нервно бил по полу, и всё её тонкое тело качалось взад и вперёд.

Она подумала, что любит Тычину какою-то странною любовью. Эта любовь похожа на жалость. Он кажется ей ограниченным человеком, но ведь любить дурака никогда не было её идеалом...

Умывшись, она стала курить. Когда синий дымок потянуло к окну, мысль о графе снова зашевелилась в её уме. Катря продолжала качаться и смотреть на себя в зеркало.

Вдруг, она заметила, что глаза у неё холодные, тусклые, почти злые; таких глаз у неё никогда не бывало прежде; точно какая-то другая женщина глядит из неё.

Катре стало стыдно, она отвернулась. Она вспомнила, как любит её Тычина, какой он щедрый. Он для неё продал имение, а много ли осталось из вырученных денег? Разве Катря не сорит деньгами? Вот и сегодня поехала в город и истратила на пустяки сто рублей, потому что ей всё надо купить – и чёрные шёлковые чулки, и золотые туфельки, и отвратительную серебряную брошку с надписью «Екатерина», и шкатулку с духами... И на чай она меньше рубля не даёт...

Она сидела, с пылающим лицом, закрыв глаза рукой, и шептала:

– Володя! Прости меня!

А когда раздался стук в двери – характерный, отрывистый стук – и вошёл Тычина, добродушный и милый, с мягкой улыбкой, она быстро встала ему навстречу, прижалась к нему и сказала:

– Поцелуй меня!

Он поцеловал её, и она готова была пла-

кать от умиления.

Но потом это прошло с жаром поцелуя; прежнее чувство недовольства опять сделалось преобладающим в её душе, жаждавшей лучшей доли.

Они пообедали вместе как всегда. Тычина был разговорчив, она отмалчивалась. После обеда ей захотелось прокатиться в лес. Но Тычина признался, что, кроме беды, не имеется другого экипажа, потому что фаэтон взял сегодня акцизник, давно его купивший. Катря побледнела.

– Денег уже, значит, нет? – спросила она.

Тычина сидел, потупившись.

– Будут, – пробормотал он.

Она отодвинула стул и вышла в сад.

Сад был обыкновенный, малорусский сад – жиденский вишнёвый. Но возле дома цвели белые акации, жасмины, сирень, пестрели благовонные цветы. Широкими уступами спускался сад к озеру, где тихо шумели старые, бледные вербы. Множество розовых кустов росло на острове. Он был похож на громадную корзину цветов.

Катря торопливо шла по узеньким аллеям.

Ей было тяжело, что она разоряет Володю. Если в три года они прожили чуть не сорок тысяч, и всё-таки жили скверно, то чем и как они будут жить дальше? Она стала соображать, что она купила за это время. Припомнила и удивилась, что так мало истратила денег. Она не подсчитала ни многочисленных дорожных издержек, ни жизни в гостиницах в ярмарочную пору, ни разных мелочей, а только расходы покрупнее. Ей стало легче. Она не мотовка. Но куда же, в таком случае, ушли деньги?

Володя постоянно говорит, что он ведёт трезвую жизнь и немного тратит на себя. Это правда, на нём белья порядочного нет, и платье он шьёт не в Киеве, а у захолустного портного Юдки. Но зато полсотни собак разве мало съедают? А сельскохозяйственные машины, которыми завалены сараи? А ружья? А книги? А бронзовая чернильница? Бронзовая чернильница, эта совершенно ненужная вещь, ставила вне сомнения расточительность Володи. Катря успокоилась.

Тем не менее, денег нет. В хозяйстве она ничего не понимает; но ей не верится, чтоб

Володя сумел когда-нибудь выпутаться. Ему грозит полное разорение. Она взобралась на холмик, где стояла виноградная беседка, и, упав на скамейку, думала о деньгах, о том, как помочь Володе, и как сделать, чтоб весело жилось на свете.

Вечерело. В лазурном небе рдели облака. Солнце низко стояло и бросало спокойный золотой свет на красную глину далёких откосов, и они опрокидывались в зеркальной глади озера. Направо зеленел дубовый лес. Налево исчезали в розовом тумане заката каролинские тополи. А прямо лиловым пятном, на котором горели искрами далёкие окна, виднелась усадьба Парпуры. Катря привстала, раздвинула ветки акации с белыми кистями душистых цветов и жадно смотрела туда. И то, о чём она думала теперь, казалось ей несбыточным, но чудным сном.

IV

Тычина заложил часть остального имения, и деньги явились. На эти деньги Катря слетала в Киев, купила несколько модных вещей и взяла в рассрочку у каретника прехорошенький фаэтончик. В нём она часто каталась. Лю-

бимым её местом гулянья стала дорога, усаженная каролинскими тополями. Её сопровождал обыкновенно Володя. Но она каталась и одна, и тогда прогулка ей особенно нравилась. Катря пристально посматривала вперёд и назад, не едет ли блестящий экипаж графа. Или, приняв кокетливую позу, она проносилась мимо усадьбы Парпуры. Дом стоял на пригорке, впереди парка, и красивая архитектура его привлекала глаз Катри. Дом был кирпично-розовый с зеркальными окнами, с башенками, с белыми, колеблющимися от ветра жалюзи. Лёгкая железная решётка служила оградой, и со двора, где пестрели клумбы, несся незнакомый аромат тропических цветов; от него ноздри вздрагивали у Катри, нетерпеливый вздох вырывался из груди. Отчего ей, красивой и молодой, не суждено жить в таком дворце?

Ни разу она не встретила Парпуру – и возвращалась домой, сердитая, капризная. Жизнь казалась ей скучной, Володя был невыносим.

Между тем отцвела акация, осыпались розы, соловей давно перестал петь. Стояли жар-

кие дни. От лучей июльского солнца побелела рожь. Начались полевые работы. Небо синее-синее; куда по горизонту ни кинешь глазом, всюду сверкает белая рубаха мужика, мерно размахивающего косой. Бабы и девки жнут, нагибаясь. По дорогам, то и дело, скрипят возы, запряжённые мохнатыми, сытыми лошадёнками или большими серебристыми волами. Мальчик в меховой облезлой шапчонке, девочка, в венке из ярких гвоздик и георгин, идут за возом, и на их смуглых личиках белеют пузыри, губы вздуты как от обжога. Это солнце палит. Вечером кто возвращается домой, кто ночует в поле. Тогда в полупрозрачном сумраке душной ночи загораются костры, а в воздухе, справа, слева дрожит звонкая хоровая песня.

Среди этого оживления, Катре было особенно не по себе. Сожитель её целые дни проводил на поле, а она сидела на своей половине, раздетая, праздная, качалась перед зеркалом, мечтала о какой-то особой нескучной жизни, плакала, что годы её бесплодно уходят, что она лишняя на свете, и во всём обвиняла Тычину. Иногда он представлялся ей та-

ким преступным, что она не пускала его к себе. «Он заедает мой век!» – шептала она, лопая руки. Тычина смотрел ей в глаза, не зная, чем угодить; вернувшись с поля, где его бесили машины, портившие хлеб, он должен был ухаживать за ней; он делал это, скрепя сердце, потому что его самого всё раздражало. Но нервы у неё были чуткие. Малейшая дрожь в голосе Володи выводила её из себя. Начинались слёзы, упрёки; он седлал коня и бешено скакал по ярам, искренно желая сломать себе шею...

Ссоры случались не ежедневно, но всё-таки часто. Выдавались минуты, когда молодым людям достаточно было взглянуть друг на друга, чтоб поссориться. Они стали бояться один другого и избегали встреч.

Оставаясь один, Тычина плакал, не понимая, что делается с Катрей.

V

В пятнадцати верстах от усадьбы Тычины жили Чаплиевские, в Колядине, большом селе, с двумя церквями; зелёные купола церквей скромно возвышались над белыми хатами, кругообразно расположенными на отло-

гом откосе яра, среди вишнёвых садов. На самом верху откоса стоял дом Чаплиевских. Виднелся только один угол его, если подъезжать к нему со стороны села. Вековые липы окружали дом. Он был недавно выстроен на месте старого, и дерево не успело ещё почернеть. У Чаплиевских считалось всего сорок десятин, но они вели образцово свои дела и могли быть названы богатыми людьми. У них имелась винокурня, и их табачная плантация давала большой доход. Они не были скупы, но расчётливы. Денег зря не бросали, не выходили из раз установленного бюджета, и в этом заключалась тайна их зажиточности. Они держали экипажи, лошадей, мебель и рояль выписали из Петербурга; у них было много столового серебра. Но всё это завели они не сразу, а постепенно, и успели состариться прежде, чем увидели, что хозяйство их процветает, и они «не хуже других».

Чаплиевские по временам задавали пиры, на которые съезжалось много соседних панов. Вот и теперь, по поводу благополучного окончания *косовицы*, Чаплиевские разослали

пригласительные письма, с просьбой «откушать косарской каши». Тычина также получил письмо. Приглашали и его, и Катерину Ефимовну. Чаплиевские были единственные соседи, которые не чуждались Катри: у них нет дочерей, люди они либеральные и деликатные.

Катря начала собираться с утра и долго мучилась, что надеть; наконец, уже перед вечером, остановилась на сером платье, отделанном кружевами. Оно было сшито в Киеве и отлично сидело. Свежие перчатки на несколько пуговок, модная шляпка, батистовый платок, вспрыснутый тонкими духами, шёлковые чулки, высокие с прорезами прюнелевые ботинки, бриллиантовые серьги – примирили Катрю с тем, что она называла своей горькой долей. Катря улыбалась, ласково смотрела на Тычину, а когда они ехали в Колядин, тихонько жала ему руку и смеялась, закрываясь застенчиво букетом.

Они ехали скоро и на каждом шагу видели знакомые картины, облитые янтарным светом заката. В одном месте Тычина равнодушно сказал:

– Это были мои земли.

Но Катре показалось, что на лице его мелькнула тень сожаления. Она перестала смеяться и несколько минут смотрела в ту сторону – на поле, на копны ржи, алевшие под лучами заходящего солнца, и думала, как было бы хорошо возвратить всё это Володе... Она была полна великодушных намерений.

Открылся вид на Колядин. Село было расположено амфитеатром. Кресты церковей горели как рубиновые искры, но внизу уже легли синие тени вечера. Развесистые ивы неподвижно стояли по обеим сторонам плотины, в спокойной глади прудов отражались багряные облака. Начались узкие улицы, белые хаты, скрытые до половины в подсолнечниках и мальвах. Пыль поднялась удушающая: шли овцы. Коровы мычали. Катря закуталась в плед, и высунула лицо только тогда, когда лошади стали взбираться по откосу, усаженному липами. Тут было тихо, воздух струился прозрачный, душистый, потянуло холодком. Через несколько минут, Чаплиевские ласково встретили гостей на балконе, где уже сидели другие соседи и соседки, приехавшие раньше.

Хозяин был лысый, коренастый человек, со спокойной улыбкой на бронзовом, гладко выбритом лице, в лёгком драдедамовом сюртуке и белом галстучке. Хозяйка – высокая, полная дама, с двойным подбородком, с загорелыми рабочими руками, в светлом кисейном платье и красивом чепчике. Она окинула испытующим взглядом Катрю и крепко поцеловала. Катря, покраснев, возвратила поцелуй. Ей было приятно, что Чаплиевская так встречает её. Но Чаплиевская поцеловала Катрю, чтоб гости видели, как она сердечно относится к этой «несчастной девочке».

Катря села. Для дам принесли из комнат гнутые стулья, а мужчинам были предоставлены ступеньки широкого балкона. Хозяйка ушла, она суежилась. Дамы обмахивались веерами, букетами и лениво молчали, вдыхая свежий воздух ясного вечера. Мужчины же, покуривая папиросы и сигары, говорили об урожае, о земских делах, о там, как о. Митрофан проиграл на ярмарке экипаж и лошадей. Последнее обстоятельство вызвало смех.

Тычина стоял посредине балкона, спиной к дамам, и чувствовал себя неловко в новом

сюртуке, полы которого расходились как юбка. Он проводил рукой по своему голому, красному загривку. Катря увидела, что Володя смешон, и вспыхнула. Хозяин сказал:

– Подсаживайтесь к нам, Володимир Ильич, расскажите, как ваше хозяйство... Что машины?

Володя, не оборачиваясь, бережно раздвинул полы сюртука и сел.

Катря не слышала, что он отвечал; она негодовала; ей казалось, что дамы насмешливо переглянулись, когда он сел, и с сожалением посмотрели на неё. Несколько лепестков с её букета закружились в воздухе: она обрывала цветы, хотя лицо у неё было спокойно.

Балкон выходил в парк. Кто едет, за деревьями не сразу увидишь. Экипажи вдруг выезжают из-за лип. Вдруг выехала и голубая карета, запряжённая сытой четвёркой и наклонённая набок; это приехали сёстры Долонины, одна худая, другая толстая. Действительно, когда карета остановилась, то из дверцы сначала показался массивный белый локоть, потом часть розовой щеки, и такой стан, что

мужчины не утерпели и подумали: «Гм!» Наконец, полная особа вылезла из кареты со всем. На ней был синий сарафан с позументами, и она походила скорее на кормилицу, чем на барышню: белокурая, черты лица заплывшие, но юные. Сестра её, которую называли худой, вылезла из экипажа вслед за нею. Она была в красном сарафане. Хозяйка услышала, выбежала навстречу Долониным и, расцеловав, познакомила их с Катрей. Прочих дам Долонины сами хорошо знали. Катря, возле которой сели Долонины, хотела завязать с ними разговор и, для начала, похвалила погоду; но сёстры ответили односложным контральтовым звуком, и никак нельзя было заключить, хвалят они погоду или нет. Катря замолчала, опять с её букета посыпались лепестки.

Ещё приехали гости – черноволосые юноши в соломенных брилях (шляпах). Появился заезжий петербургский франт, в синей трико-вой паре, бронзовой цепочке и с развязно-вопросительным выражением худого, зелёного лица. Он говорил громко и по временам по-сматривал на дам пытливым оком. Явился о. Митрофан с жидкими рыжими волосами, в

светлой рясе, с манерами вкрадчивыми и заискивающей улыбкой. С ним – два его сына, в парусинных блузах. Их серые глаза любовно и тупо смотрели на всех, ноги шаркали, стриженные головы вежливо нагибались направо и налево. Приехал старик атлетического сложения, крепкий как дуб, Перебийнис, с красным лицом, белыми усами и ласковым взглядом (ему восемьдесят семь лет).

На балконе стало тесно. Дамы взялись под руки попарно и начали прохаживаться по поляне перед балконом. Молодые люди в брилях присоединились к ним. Разговорились. Слышался смех, здоровый, грудной смех. Катря завистливо смотрела на эту пёструю публику и обрадовалась, когда какая-то бесцветная девушка предложила и ей пройти. Они встали, и петербургский франт, говоривший в это время с хозяином, замолчал на минуту и проводил их долгим выразительным взглядом; после чего опять стал беседовать.

На светлом небе уже вздрагивали бледные звёзды. Было тихо. Летучие мыши описывали чёрные круги... Гости думали: «Поздновато»... и начали скучать. Но появилась хозяйка и по-

просила их в сад – чай кушать. Священник кашлянул в руку. Все притихли и стеснённой походкой потянулись за хозяевами.

Огромный стол, человек на сорок, был накрыт под столетними липами. Лампы из-под абажуров бросали на белую скатерть круги света. Груды печений, бутылки с ромом и коньяком, варенья в хрустальных вазах, стаканы с дымящимся чаем, сверкающий самовар, всё это оживило гостей. Громко заговорили, стали шутить и усердно пить и есть.

Петербургский фронт сел подле Катри.

– Что здесь за виды! Какой восторг! – сказал он, заложив за щеку кусок кренделя, отчего лицо его перекошилось.

Катря подняла глаза. Перед нею, за редкими стволами высоких лип, расстилалась серо-лиловая даль, где там и сям мелькали огни.

– Да, – сказала она неопределённо.

– Украина! Украина! – произнёс фронт и проглотил свой крендель.

– Вы любите Украину?

– О, чудная страна! – вскричал фронт.

Катре он не понравился. Но Володя, сидев-

ший напротив, ревниво – казалось ей – глядел на неё своими впалыми, искрящимися глазами. Тогда в ней что-то вспыхнуло, и ей захотелось наказать Володю, который целый вечер мучил её. Она повернулась к франту и стала весело болтать с ним.

Чай подходил к концу. О. Митрофан подозвал сыновей и, решительно взглянув на хозяина, страстного любителя пения, произнёс:

– А нуте, хлопцы!

– Пускай же дети покушают сначала! – вскричала хозяйка.

Дети с тоскливой улыбкой посмотрели на отца.

– Нуте, нуте! – строго сказал священник.

Опрокинув в рот остатки пунша, он встал, кашлянул и провёл по воздуху рукой.

Юноши подняли подбородки, нахмурили брови, и началось пение.

Чай отпили, всем захотелось петь. Вокруг священника образовался хор. К хору постепенно пристали даже старики. Перебийнис подтягивал хриплой октавой. Молодые люди в брилях стали петь, сделав серьёзные лица. Наконец, Долонины заглушили хор.

И Тычина подпевал. Катря, уходя под руку с петербургским франтом, видела, как Володя покачивался всем телом и басил, устремив в одну точку глаза. Такое внезапное увлечение пением рассердило Катрю больше, чем предполагаемая ревность Володи к её кавалеру. «Да он не обращает на меня внимания!» – подумала она с сердцем.

Быстро темнело. Над головой небо казалось чёрным. Деревья были слабо освещены снизу, в двух шагах от стола начинался почти непроглядный сумрак. Но луна взошла. Её бледные лучи робко скользили по спокойной листве сада, по траве. Чем дальше, тем всё ярче и таинственнее блестел этот свет, и тем беспокойнее становилась Катря.

– Пойдём назад! – сказала она резко, заметив, что кавалер чересчур жмёт ей руку.

Он молча глянул Катре в глаза с мольбой.

Она расхохоталась.

– Ну, сядем здесь.

Они сели над обрывом; виднелась голубая даль, залитая серебряным туманом лунной ночи. На дне обрыва сплошь блестели круглые листья табака. Казалось, там озеро.

– У меня голова кружится от этой ночи! – проговорил Франт, с упоением глядя на табак, и стал небрежно подтягивать хору, который доносился сюда, гремя среди ночного молчания, а рука его, как бы нечаянно, коснулась Катриной талии.

Катря вскочила. Сердце у неё тревожно забилось. Она пошла быстрой походкой, не сказав ни слова, и скрылась за деревьями. Франт оробел и долго сидел на скамейке с широко раскрытыми глазами.

Хор внезапно смолк. Четыре костра осветили деревья. Трепетный свет упал на Катрю. Володя чёрным силуэтом выделился на ярком фоне огня. Она, слегка жмурясь, подошла к Володе.

– Послушай, – сказала она ласково, вполголоса.

Он оглянулся и взял её за руку.

– Что тебе?

Катря почувствовала, что нечего сказать ему.

– Ничего, – произнесла она с улыбкой и стала обмахивать увядшим букетом пылающее лицо. – Не правда ли, он ужасно глуп? –

сказала она вдруг, после молчания.

– Кто?

Но она опять не ответила и направилась к группе дам, полулежавших на ковре, в живописных позах, и смотревших на огонь. Другие дамы стояли поодаль. Мужчины разговаривали вполголоса. Прозрачные тени перемежались с полосами лунного света и вздрагивающим отблеском костров. Фигуры на заднем плане то освещались, то погружались в неясный сумрак. Катря искала, где бы сесть поудобнее. Но ковёр был занят. Она глянула направо, быть может, потому, что все туда поглядывали. Там, на садовом диванчике, окружённый пожилыми дворянами, сидел граф Парпура, держа в руках свою панаму. У Катри спёрлось дыхание. Она стала курить, сильно затягиваясь.

Граф увидел Катрю. Он улыбнулся, вспомнив сцену в вагоне, и через некоторое время, отделившись от скучных разговоров с пожилыми дворянами, попросил хозяина познакомить его с Тычиной.

– Мы давно знаем друг друга, если не ошибаюсь, а между тем не встречались до сих

пор, – сказал граф дружески.

– Мы соседи... Очень рад, что, наконец... в свою очередь... – пробормотал Тычина.

– Слыхал, вы – образцовый хозяин, – продолжал граф. – Такое соседство особенно приятно... Машинами?

– Машинами.

– У меня также. Впрочем, Пьеро – Александр Александрович, мой управляющий – находит, что иногда можно обойтись и без машин.

– В наших местах – да, – скромно согласился Тычина. – Мужики портят... Ну, а поправить некому... Я, однако, такого мнения, – продолжал Тычина, у которого с недавнего времени на хозяйство установился свой особый взгляд, – до тех пор помещики будут страдать, пока земли у них будет много...

– Да?

– Честное слово... Я об этом и вашему Пьеро говорил... Я его знаю.

– Какое же по-вашему должно быть нормальное количество земли у нашего брата? – спросил граф.

– Прежде, когда у меня было шестьсот деся-

тин, – отвечал Тычина, – я думал, что для рационального хозяйства надо иметь только двести. Теперь же я пришёл к убеждению, что достаточно тридцати... Одним словом, – заключил он, давно уже лелея в душе намерение продать «лишние» десятины, – дело не в земле.

Разговор продолжался в таком же роде. Граф не мог согласиться со многими хозяйственными воззрениями Тычины; но не мог и не признать, что они, во всяком случае, своеобразны. Тычина был польщён, ему понравился граф.

Но в то же время неясное предчувствие зла, которое сделает ему этот человек, заставляло Тычину быть настороже. С какой стати этот знатный барин так вежлив и предупредителен с ним?

Катря могла бы дать Володе определённый ответ. Как только она увидела, что граф беседует с Володей, у неё сложилось сейчас же убеждение, что это ради неё. Она сделала несколько шагов назад, в глубину, и под прикрытием сумрака, подошла близко к беседующим. Она готова была расцеловать Володю за

то, что он так мил с графом...

Между тем хозяйка, улучив удобную минуту, представила графа некоторым дамам и кстати – Катре, которую назвала *супругой* Владимира Ильича. (Женой никто не называл её, даже сам Владимир Ильич). Граф ещё вскоре после встречи в вагоне узнал, кто эта девушка. Теперь он изысканно вежливо раскланялся с нею и сказал ей несколько фраз – незначительных. Но ей почудился в них намёк на что-то. Она вся вспыхнула. Яркий свет костра играл на её смущённом лице, и блеск глаз спорил с блеском бриллиантов в её ушах. «В самом деле, она недурна», – подумал граф.

Он уехал перед ужином. Хозяева напрасно удерживали его: сегодня он сам ждёт гостей из Петербурга. Но когда граф сел в экипаж и исчез, Чаплиевские вздохнули с облегчением. С этими знатными баррами всегда лишние хлопоты!

Гости тоже почувствовали себя свободнее. О. Митрофан, посматривая на стол, где шли приготовления к ужину, потирал руки. Дамы непринуждённо стали ходить. Опять раздался смех, весёлый говор. Мужчины заспорили.

Слышались восклицания: «Уверяю же вас»... «Да и я вас уверяю»... Предмет спора – состояние графа. Все, за исключением двух-трёх скептиков, преувеличивали. Каждому почему-то хотелось, чтоб у Парпуры было не двести тысяч дохода, а триста, пятьсот, или, наконец, миллион. Катря вслушалась в спор, и рука её, крепкожатая на прощанье графом, горела как от прикосновения этого миллиона.

За ужином снова начали говорить о графе, о его обстановке, лошадях, о том, что он разгибает подковы; о его вкусах – он, например, пьёт чай без сахара; сообщали также, что граф «не любит лести». Эти независимые, более или менее богатые люди относились к Парпуре с подобострастием и интересовались мельчайшими подробностями его жизни, точно он был великий человек.

Впрочем, молодёжь, за исключением Катри, вскоре перестала обращать внимание на рассказы о графе и затеяла свой разговор. К концу ужина, когда захлопали пробки, и новые костры вспыхнули в разных местах парка, всем сделалось необыкновенно весело. Лица раскраснелись, глаза горели, плечи тряса-

лись от смеха. Даже петербургский франт, который напился до того, что сделался бледен и никого не узнавал, не испортил веселья. Правда, он начал бросать во всех хлебными шариками, и многим это показалось, по меньшей мере, странным и не имеющим ничего общего с утончённым обращением, каким, по мнению провинциалов, отличаются столичные жители. Но хозяин вовремя потушил скандал, незаметно убрав неприятного гостя. Пир продолжался беспрепятственно.

После ужина перешли в ярко освещённый дом. Стали танцевать под звуки фортепьяно, но танцевали недолго. Было уже поздно. Хозяин раза два вежливо зевнул. Постепенно гости разъезжались...

Володя и Катря, очутившись в своём фаэтоне, долго молчали. Рассвело. Заря зажигалась и бросала на лицо молодой женщины розовый свет. Ветерок играл её волосами. Она полулежала. Володя смотрел, смотрел на Катрю, и ему захотелось поцеловать её. Она отвернулась.

– Вечно одно и то же! – сказала она брезгливо.

Он промолчал, сконфуженный; но вскоре схватил её за руку и притянул к себе.

– Катря! – прошептал он, улыбаясь.

Она пожала плечами и посмотрела на него. У неё были равнодушные глаза. Он испугался, сердце его тоскливо заныло. Тычине впервые ясно представилось, что Катря не любит его. Он выпустил её руку... Солнце блеснуло и осветило лицо Катри.

– Граф пригласил тебя? – вдруг ласково осведомилась она.

– Пригласил... «Запросто»... Да чего мне к нему? Я не поеду...

– Володя, неловко!

Володя подумал и решительно произнёс:

– Мы ему не пара.

Катря сжала губы.

– Как знаешь, – сказала она холодно.

VI

Через несколько дней, вечером, когда Катря и Володя собрались пить чай в беседке, послышался на дворе лай собак; кто-то приехал. Тычина не любил гостей. Он пытливо посмотрел на дорожку, теряющуюся в кустах барбариса и крыжовника. Катря окинула

быстрым взглядом свой туалет – нашла, что он недурён, прост и к лицу – и нетерпеливый вздох вырвался из её груди. «Что, если Парпура? – Сам... первый»...

Лай приближался. Володя пошёл разогнать собак. Те стихли, и он вернулся в сопровождении высокого, полного, красиво улыбающегося старика в мягкой войлочной шляпе, с длинными волосами и большой бородой. Старик держал в руке толстый хлыст. Шёл он, слегка повернувшись боком к Тычине. В его фигуре было что-то щёголеватое, подкупающее; карие глаза его умели смотреть, в одно и то же время, насмешливо и угодливо. Он говорил с Тычиной, и слышалась беглая русская речь, со странным, как бы московским говором. В этом полумосквиче, полуфранцузе Катря узнала Пьеро, графского управляющего, хоть раньше не была знакома с ним. Она разочаровалась, и едва протянула ему руку, когда он вошёл в беседку, и его представил Володя.

Катря налила Пьеро самого отвратительного чаю, какого и Володе не наливала – хозяйка она была плохая. Но вежливый старик

выпил с удовольствием и ещё попросил. Он весело болтал, и между прочим сказал Тычине, что явился по делу – по поручению графа – о чём, конечно, успеет поговорить. Катря сделалась любезна; взгляд, брошенный на неё Пьеро, приятно испугал её...

– Что такое? – промолвила она.

– Сухое дело, хозяйственное! – отвечал Пьеро с улыбкой, загадочно подмигнув Володе.

Тот спросил:

– Какое дело?

Пьеро достал сигару, медленно обрезал её, посмотрел в даль, где в золотисто-розовом тумане расплывались силуэты деревьев, и сказал:

– В той руке у вас, кажется, сто десятин?

– Да.

Пьеро закурил сигару и ударил Тычину по коленке.

– Цена? – победоносно спросил он, не вынимая изо рта сигары.

Тычина покраснел и растерялся.

– Граф хотят купить?

– «Хотят», – весело сказал управляющий. – Цена?

Тычина пожал плечами.

– Мне, признаться, жаль того куска, – произнёс он с грустью.

– Как? – воскликнул гость. – А ваша теория тридцати десятин?

– Оно так... – сказал Тычина. – Но всё-таки... – он напряжённо улыбнулся и заключил, – как-то жалко!

Пьеро посмотрел на него и замолчал. Он выпустил струйку дыма и переменил разговор: с увлечением начал рассказывать о затеях графа. Если графу придёт что в голову – то уж он на своём поставит (выразительный взгляд в сторону Катри). Сегодня ему пришла идея насыпать за парком гору или даже горную цепь – подобие Кавказа – и завтра начнут насыпать; придётся выбросить тысяч пятьдесят; но что для него пятьдесят тысяч? (Тычина вздыхает, задумчиво перебирая пальцами). Может быть, известно, во сколько обошлось ему *написать лесами*, на протяжении многих вёрст: «граф Иван Парпура»? Более двухсот тысяч!.. («Нелепо», – вполголоса замечает Тычина). Нелепо? Да. Но грандиозно-с...

Пьеро ещё некоторое время говорит о гра-

фе. У Катри разгораются глаза. Тычина погружается всё в бóльшую задумчивость... Потом гость вскакивает и, взглянув на часы и на меркнувшее небо, прощается.

– До приятного свидания! – говорит он с озабоченным видом.

Катря и Тычина проводили его.

– Не забывайте!

– Всегда ваш гость! – произносит в ответ Пьеро, сидя в своём красивом экипаже, с высокими и тонкими колёсами, и низко кланяется.

За ужином Володя весело сказал:

– А что, Катря, если б за десятину по двести рублей, с переводом долга, то поправили б мы дела?

Катря кивнула головой. Мысли её были далеко.

Пьеро снова приехал дня через три. Можно было заметить, что вопрос о земле сильно занимает его. Но теперь он первым не хотел приступить к нему. Для Тычины это было ясно; хитрый француз *выжидает*. Но Тычина вознамерился перехитрить француза и решил тоже молчать. Если графу очень хочется

купить этот кусок земли, то прямой расчёт – самому принять выжидательное положение. Таким образом, Пьеро провёл у них опять вечер и уехал, по-видимому, ни с чем.

Было ещё несколько таких вечеров. Пьеро лукаво посматривал на хозяина, а хозяин думал: «Ладно, ладно!», и, почёсывая затылок, хитро улыбался. Дело не подвигалось.

Катря краснела каждый раз, как являлся Пьеро. Он стал беседовать с ней на французском языке. Говорила она плохо, но он похвалил её произношение, и она обрадовалась практике. Тычина не понимал по-французски, и французский язык, по временам, сильно беспокоил его. Однажды Катря, после какой-то фразы Пьеро, нахмурилась и сердито замолчала. В другой раз ушла со сверкающими от слёз глазами. И хоть тотчас же вернулась и стала смеяться, но Тычина встревожился: смех был нервный.

– Что со тобою? – спросил он.

– Ничего! – сказала она, продолжая смеяться. – Володя, прости меня! вскричала она вдруг. – Виноват Александр Александрович...

Пьеро смутился.

– Ты думаешь, о чём мы с ним говорим? – продолжала Катря. – Да всё о том, как бы тебя...

Она остановилась, приложила платок к побледневшему лицу; подбежала к Володе, взяла его за руку и сказала:

– Знаешь, пора с этим покончить!..

Володя взглянул на Катрю с недоумением. Глаза её блестели.

– С чем пора?..

Но она не сейчас ответила.

– Господи, какие я пустяки болтаю! – произнесла она и, сев на прежнее место, стала курить. – Надо покончить с этим вашим делом...

Пьеро почувствовал себя лучше. Володя проговорил:

– А! Ну, это, мой друг, касается меня. Напрасно они тебя сюда путают...

Он вежливо усмехнулся в сторону Пьеро.

– Не бойся, не продам дёшево! – сказал он Катре внушительно.

Пьеро как и в тот раз ударил его по коленке.

– В самом деле, батенька, что же вы – как решили?

Хитрый Тычина отвечал, потупившись, что ещё никак не решил.

По отъезде гостя, он напустился на Катрю за вмешательство не в своё дело. И первый раз в жизни она возражала ему ласково.

– Ты повредила мне, – кричал он, – я этого недаром боялся!..

– Тише, милый! – говорила она, стараясь обнять его. – Честное слово, я ничего... Всё равно, они дадут тебе – что запросишь...

Она так крепко и жарко целовала его, что он перестал, наконец, сердиться.

VII

Конец июля. Рано встал Тычина и, пощёлкивая пальцами, ходил по залу. Он ждал Катрю к завтраку и хотел ей предложить ехать вместе в город. Дело с Пьеро уладилось, и сегодня у нотариуса назначено свидание для составления крепостного акта. «Катря будет рада получить на булавки сотню-другую», – думал Тычина.

Завтрак простыл, Катря не выходила. Тычина тревожно посмотрел на часы и пошёл на Катрину половину. Он разбудил Катрю, и она, сверх обыкновения, не рассердилась: от-

крыла глаза, жмурясь на полосу золотого света, падавшую из полуотворённой двери, и как-то испуганно улыбнулась. Володя присел на постель и объяснил, зачем пришёл. Но Катря покачала головой.

– Нет, не поеду.

– А тебе покупки надо? – сказал он.

– В Киеве куплю. В Киев поеду.

Он помолчал.

– Уходи, мне спать ещё хочется, – произнесла она и повернулась к нему спиной.

Он обнял её.

– Перепёлочка!..

– Ах, оставь!

В её голосе задрожали слёзы.

– Завтрак простыл, – сказал он.

– Ну, и отлично. Ни свет, ни заря завтрак!

Поезжай, а то опоздаешь.

– Какая у тебя тоненькая талия, Катря! – заметил Володя.

Ответа не последовало.

Он вздохнул, робко поцеловал её в плечо и вышел.

Возвратился Тычина из города поздно, с саквояжем, туго набитым бумажками. Погода

переменилась, дождь лил весь вечер, и Тычина промок. Несмотря на то, что с ним было много денег, он приехал не в духе. Широко шагал он по залу и ругал погоду, в ожидании рюмки водки и ужина.

– А барыня? – спросил он у горничной, когда та вошла.

– Катерина Ефимовна уехали, – отвечала горничная.

Тычина остановился, ошеломлённый.

– Как? Куда?

– В Киев, чи що...

– А!

Он опять зашагал.

– Не утерпела! – говорил он вполголоса. – И на какие деньги? Что за женщина!..

Он пожимал плечами, смотрел в чёрные окна и хмурил брови; но поел с аппетитом и так как устал, то отправился спать. Засыпая, он думал сначала о Катре и тосковал; а после мысли его сосредоточились на том, как он перехитрил француза. Ему приснилось имение, которое он будто бы сам покупает. Сумрак, однако, мешает ему хорошенько осмотреть имение. Но он видит, что на полях растут цветы

точно в саду, и действуют огромные машины, стальные части которых тускло сверкают. Тычина удивляется глупости Пьеро и рад, что у него будет такое имение; однако ему и страшно чего-то. И он идёт, озираясь по сторонам, а машины мерно шумят среди этого странного сумрака...

Он проснулся, серый дождь бил в окно. День начался. Тычина встал и подошёл к письменному столу.

«Целы ли деньги?» – подумал он.

Деньги целы. Он уложил их обратно в саквояж и, почёсывая голову, стал смотреть на дождь.

– В такую погоду! – вскричал он, вспомнив, что Катря уехала. – Пожалуй, калош не взяла, плаща, зонтика!

Он побежал в Катрины комнаты.

Там всё было в порядке. Но в неплотно притворённое окно врывалась струйка холода вместе с запахом яблок, и – странно – чем-то нежилым уже веяло от этой щёгольской спальни. В задней комнате Тычина наткнулся на пустой чемодан. Непромокаемое пальто висело на гвоздике, в углу стояли зонтики...

– Конечно, не взяла! – вскричал Тычина и яростно потряс пальто.

Оказалось, что и калош не взяла. Он чуть не плакал: Катря простудится, заболеет! Самые печальные картины рисовались его воображению. Он ломал руки и, вернувшись в спальню, тупо глядел на вещицы, украшавшие модный письменный столик Катри. Постепенно на малиновом сукне, которое казалось полинялым при свете дождливого дня, внимание его стало различать какой-то маленький плоский предмет. То был розовый конверт. У Тычины болезненно забилось сердце. Конверт запечатан, в нём письмо, только не стоит адреса. Но Тычина был уверен, что письмо к нему, и очень важное, которым решается его судьба. Сделав над собою усилие, он вскрыл письмо и прочитал:

«Милостивый Государь!

(Строчка эта была зачёркнута, но тонко, так что можно разобрать).

Милый Володя!

Я уезжаю в Киев, закупить кое-что, как я тебя и предупреждала. У меня ещё оставалось денег, и хватит на всё. Но, ради Бога, не сер-

дись. Ты знаешь, я люблю одна ездить, а то ты всегда во всё вмешиваешься и не даёшь ничего купить. Я приеду послезавтра, с ночным поездом, но ты не беспокойся. Пожалуйста, Володя, не сердись же, и я уверяю, что так лучше выйдет. Катря.»

Тычина шумно вздохнул. Ему стыдно сделалось своего страха... Напевая, он ушёл к себе, и целый день провёл на охоте, весело гоняясь, верхом, со сворой борзых, за мокрыми дрóфами. Он забыл о том, что Катря не взяла ничего от дождя, и перестал бояться, что она простудится, как только перестал бояться другой опасности, неопределённой, но казавшейся ему более грозной.

На другой день он снова охотился; уж не так весело. Дождь усилился и стал лить как из ведра – тут никакая охота невозможна. Он торопливо вернулся домой, наскоро пообедал и приказал кучеру готовиться ехать на станцию. Кучер взглянул на дождь, потупился и подумал, что разве к вечеру погода переменится. Но не успел он раскрыть рта, чтоб высказать это предположение, как барин уже набросился на него, трясясь от гнева, совер-

шенно, по-видимому, беспричинного.

– Не рассуждать! Убью!

Оставшись один, Тычина поколотил собаку, прилѣгшую было у его ног. Чтоб успокоить себя, он вынул из бокового кармана письмо Катри и перечитал его. Он долго насвистывал, барабанил по окну, по которому с другой стороны хлестал холодный ливень. По мере того, как наступали сумерки – бледные сумерки дождливого вечера, почти не дающие теней – непонятная тоска начинала грызть его...

Вошёл кучер, на этот раз без зова, и с торжеством сказал:

– Нельзя ехать.

– Как нельзя? – закричал Тычина.

– Да так, что нельзя. Греблю размывает. Вот что! Верхом ещё так сядь – проедете, Бог даст, а на колёсах, парюю?!

Он отчаянно махнул рукой.

– Да и погода, – заключил он, – добрый хозяин собаки не выгонит...

Тут он кстати увернулся от Тычины, который, стиснув зубы, бросился к нему с кулаком, и уже из-за дверей крикнул:

– Ваша воля, а ехать не можно... Никто теперь не поедет... И Катерина Ефимовна не поедут со станции...

После чего надолго исчез.

Тычина отправился на станцию верхом, велел кучеру приехать утром. В самом деле, Катре будет безопаснее провести ночь на станции, в дамской комнате, и Тычина надеялся, что найдётся там местечко и для него.

Он явился на станцию часа за два до поезда, измученный и промокший до костей. Чернела ночь, ливень всё не умолкал.

Тычина сел в общем зале. Полупритушенная лампа чадила, на стенах белели объявления. Он глядел на них и думал о том, как придет Катря, и как он встретит её.

Он считал минуты. Надоело сидеть, он стал ходить. Дамская комната оказалась запертой. «Кто там?» – подумал он с тревогой. Из тёмного угла, где стоял диван, торчали чьи-то ноги – одна в сапоге, другая – в носке. «А это кто?» И так как в ответ слышались только шум дождя за стеной и, по временам, храпение незнакомца, то и эта неподдающаяся дверь, и эти ноги стали раздражать Тычи-

ну. В особенности, ненавистны были ноги...

Он вышел на платформу, в которой уныло отражались огни фонарей. Дождь гремел. Тычина захлопнул дверь и вернулся в зал. «Надо ж было выбрать время!» – злобно шептал он, ругая Катрю.

Часы пробили двенадцать. Через десять минут должен прийти поезд. Но на станции ни малейшего движения. «Разбудить кого, что ли?»

Лишь в половине первого мало-помалу проснулась станция. Стало светлее, кассу открыли, помощник, в цветной шапке с галунами, торопливо прошёл по залу.

Публики почти не было. Из дамской вышли два дюжих великорусских мужика, в розовых сорочках и кафтанах нараспашку, босые, и, справившись, какой будет поезд, зевнули, почесались и снова ушли в дамскую.

– Я их потом уберу, – сказал помощник всплывшему Тычине, – не беспокойтесь.

За стойкой, буфетчик с заспанной физиономией раскладывал свой товар. Звонок резко бил. Господин с ногами вскочил и хриплым голосом потребовал рюмку водки. Через

некоторое время, ему показалось, что у него пропал сапог.

– Грабят! – закричал он неистово.

– Вы что здесь буйствуете?

– Грабят!

– Господин?!

– Граб...

Жандарм взял его за плечо.

– Вот ваш сапог...

«Господин», увидев жандарма, забился в угол. Помолчав, он с укоризной начал, криво натягивая сапог:

– Украина! Украина!

И обратившись к Тычине, воскликнул сонно:

– Милосливый госсударь!..

Тычина вздрогнул. Он узнал петербургского франта. Этот пьяный окрик странно прозвучал для его слуха: ему вспомнилась строчка, зачёркнутая в начале письма Катри... Иногда снится, что слышишь какое-нибудь пустое слово, которое внезапно покажется полным грозного смысла... То же самое случилось теперь с Тычиной наяву.

Он побледнел и подошёл к петербургскому

франту; но тот уже спал, и из угла по-прежнему торчали только его ноги. Тычина круто повернулся на каблуках и стал шагать с мрачной сосредоточенностью.

Час.

– Чёрт! Послушайте, однако, что же поезд? Помощник разводит руками.

– Давно уже вышел... скоро из Блискавок придёт... Видите, какая погода!

И хотя до сих пор поезда ходили неаккуратно во всякую погоду, тем не менее, прислушиваясь к рёву ливня, помощник делает озабоченное лицо.

– Терпение! – произносит он и исчезает.

Буфетчик, зевая, крестит рот. Слышно, как он вполголоса говорит:

– Несчастье, чего доброго, случилось...

Тычина подходит к буфетчику.

– Несчастье?

Лицо у него бледное, измученное, глаза горят.

– Всё от Бога...

– Что, брат, зря болтаешь! – гремит жандарм, краснея как индюк. – «От Бога!» Дурак! Извините, ваше благородие! – вежливо гово-

рит он Тычине и делает под козырёк. – Всё обстоит благополучно!

Появляется начальник станции – в толстом пальто и форменной шапке. Тычина – к нему.

– Несчастье?

– Звонок! – строго кричит начальник служителю. – Поезд подходит, – говорит он с неудовольствием. – Разве не слышите?

Он поднимает палец. Все прислушиваются. Земля начинает мерно дрожать. Вдали раздаётся хриплый свисток паровоза...

Поезд пришёл. Окна маленькими светлыми четырёхугольниками смотрят из темноты. Тычина бросается на платформу, пробегает по вагонам, будит пассажиров... Катри нет!

* * *

«Несчастья» не случилось; однако, ему показалось, что отсутствие Катри и есть самое большое несчастье, и что именно этого он опасался. Он не подумал, что погода могла задержать её в Киеве, болезнь, мало ли что. Он сразу решил: «Катря обманула». Но не вышел из себя, не стал проклинать. Только чувство огромной пустоты овладело им. Подождав до

рассвета, пока не стих, наконец, дождь, он
разыскал Полковника, подтянул ремень у сед-
ла и молча поскакал домой.

* * *

Катря, действительно, не вернулась – ни-
когда.

Март 1883 г.